

Алексей Биргер

A black and white portrait of a young man with wavy hair, wearing a dark, textured cardigan over a white collared shirt. The portrait is rendered in a stippled or engraved style. The text 'Николай Издakov' is overlaid on the lower part of the portrait.

Николай
Издakov

Алексей Биргер

**Николай Языков:
биография поэта**

«Издательство АСТ»

2020

УДК 82-94
ББК 84(2)

Биргер А. Б.

Николай Языков: биография поэта / А. Б. Биргер —
«Издательство АСТ», 2020

ISBN 978-5-17-119778-0

Впервые в истории подробный рассказ о жизни и творчестве Николая Языкова, одного из величайших русских поэтов. Языкову не повезло. При всем колоссальном таланте, он остался для последующих поколений в тени Пушкина и Лермонтова, и почти 200 лет никто не пытался глубоко и серьезно осмыслить его воистину трагичную судьбу. Автор постарался найти свой ответ на самые острые вопросы, не уклоняясь от «скользких» тем. Действительно ли Языковым настолько владела зависть к Пушкину, что он был его фальшивым другом, чем-то вроде Сальери при Моцарте? Действительно ли под конец жизни он настолько ненавидел людей, из-за своей неизлечимой болезни, что навеки запятнал себя злобными стихотворными пасквилями, «доносами в стихах», на лучших и передовых представителей российской мысли и культуры? Ради того чтобы докопаться до истины, пришлось многое пересмотреть в устоявшихся взглядах на пушкинскую эпоху, в оценке и значении многих фигур. Интеллектуальный детектив, как можно было бы определить жанр книги, способен держать читателя в напряжении до самого конца.

УДК 82-94
ББК 84(2)

ISBN 978-5-17-119778-0

© Биргер А. Б., 2020

© Издательство АСТ, 2020

Содержание

Вместо предисловия	7
Пролог, или Точка отсчета	10
Рождественский финал	13
Глава первая	23
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Алексей Биргер

Николай Языков: биография поэта

Портрет на обложке – А.Д. Хрипков, 1829 год

Издательство автора – Марии Градской

© А. Биргер, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Вместо предисловия

Я скитался вдали от Тебя, и меня отогнали даже от стручков, которыми я кормил свиней. Насколько басни грамматиков и поэтов лучше, чем эти западни. Поэма в стихах о летящей Медее принесет, конечно, больше пользы, чем рассказ о пяти элементах, по-разному раскрашенных в виде пяти «пещер мрака», которые вообще не существуют, но которые губят уверовавшего. Стихи и поэмы я отношу к настоящей пище.

(Блаженный Августин.

Исповедь. Часть Первая, VI, 11.)

...И если вдуматься, то действительно: сначала мы – ничто, точка при рождении, а потом мир вокруг нас начинает упорядочиваться и расширяться, глаза и уши впитывают краски и звуки, руки осязают предметы, калейдоскоп превращается в связные образы, и сумма образов, сумма впечатлений в некий момент достигает того предела, за которым невозможно не осознать, что ты чем-то отличаешься от всего окружающего, что ты – отдельная величина, драгоценный ларец для бесконечного накопления мира и откликов на него; отворяешься, чтобы принять золотые и чтобы их потратить; и без этого ларца ничего для тебя не существовало бы; приходит осознание собственного «Я».

Не осмысление, нет, до способности осмыслять еще далеко, а вот осознание, на уровне чувства и ощущения, включено и обогащается, от порезанного пальца или голода, когда больно и неприятно, до одеяла и колыбельной, когда тепло и хорошо.

Колыбельная, потешка, считалка... Почему и самая первая поэзия, воспринимаемая лишь движением некоей странной гармонии, загадочной и непонятной, уже становится настоящей пищей, тем насущным хлебом, благодаря которому твое «Я» крепнет и, отделяясь от мира как нечто особенное, одновременно с этим теснее и глубже вырастает в мир? Может быть, ты открываешь ценность своего «Я» как второго полюса, необходимого для создания напряжения, для возникновения светоносного тока, без этого второго полюса и первый не нужен, исчезает в пустоте; твое «Я» бесценно как «Я» сперва слушателя, а потом и читателя, дающего конкретную, индивидуальную жизнь поэзии внутри тебя. Вот так и получается, что чем глубже осознание «Я», тем роднее всё окружающее. Поэзия-то вечна, но без тебя она не станет такой простой и личной в своем существовании. И навеки остается с тобой – как связь и с семьей, от мамы и папы до далеких предков, и с родиной, и со вселенной – и добрый ворон, который, сидя на дубу, дул во трубу, во серебряную, точеную, по-зо-ло-ченную, и дядюшка Данило, запрягавший кобылу, и аты-баты вместе с кочками и ухабами (а у кого-то – там, в далеком далеке – лондонские колокольни, торгующиеся из-за четверти грошика, и бедный Томми, у которого все-таки хватает двух монеток на яблочный пирожок, и упавший в яму лягушонок, и многое волшебное), потом волна поэзии нарастает, приходят стихи авторские, всё «взрослее», «литературнее», и ты все больше обретаешь родной язык, без которого – без языка – никакое полноценное «Я» невозможно.

Может, потому наша память своими особенными путями движется: многое и многое забывается, порой такое, что, казалось бы, вовеки забыть нельзя, первая любовь, первые слезы, первая радость (кто вспомнит сейчас в подробностях свои первые слезы или первый смех?), но, как ни странно, остается в памяти первое впечатление – первый удар – от грандиозных поэтов.

И память об этом ударе неразрывно сцеплена и спаяна с памятью о всех ничтожных, ничемных, мусорных и сорных, никому, кроме тебя не интересных, подробностях, при которых настигло тебя потрясение, – то ли тащишь с собой все ракушки и водоросли, намертво присо-савшиеся к днищу судна, то ли по притче о плевелах и пшенице, не разделить их, пшенице не

повредив, пока не наступит время сбора урожая, последнее и окончательное, а то ли в каждой дрянной мелочи все равно отражается образ твоей эпохи – и образ эпохи, при всей мелочности и сорности, при ненужной вроде бы конкретике обстоятельств, не менее драгоценен, чем вне эпох живущий звук настоящей поэзии, накрывающий тебя – именно тебя и именно в определенной точке пространства и времени – огромной волной.

Мне четырнадцать лет, и я стою возле бассейна «Москва», где теперь возвышается храм Христа Спасителя, а тогда – густые, необъятные клубы пара над провалом, сквозь них еле проглядываются голубая вода и разметка дорожек для заплывов, и еще раз перелистываю томик Баратынского из «малой» серии «Библиотеки поэта». И тончайшая грусть Баратынского навеки проникает в меня... (И вот еще свидетельство той неразрывной связи между выросшим из точки своего рождения «Я» читателя, отдельной и неповторимой личности, и открывающимся ему «Я» поэта, у Баратынского: «И как нашел я друга в поколение, Читателя найду в потомстве я», важен ему отдельный читатель, который станет равен другу, а не «общая масса» школьного поклонения.)

Мне пятнадцать лет, и я сижу в Дегтярном переулке, у ограды, отделяющей нашу школу от Фрунзенской прокуратуры, и не могу собраться и пойти на урок, потому что еще и еще раз перечитываю Языкова... А рядом, в том же Дегтярном переулке, дома Шевырева и Погодина, где Языков, бывало, дневал и ночевал, а за углом – дом Павла Воиновича Нащокина, у которого Языков познакомился с цыганкой Таней (Татьяной Дмитриевной Дементьевой) и который на поминках Языкова стал главным заводилой большого пьянства в его память. Я этого еще не знаю, мне еще предстоит это открыть.

С тех пор я не раз задавал себе вопрос: почему Языков, гениальнейший по природе, так и не сумел до конца состояться, остался в тени? И вообще, почему, после грандиозной прижизненной славы, закончившейся к концу 1840-х годов, и вплоть до футуристов, к нему пренебрежительно относились как к одному из второстепенных поэтов пушкинского ряда: м-да... талантлив... но неряшлив и дилетантичен в технике стиха... и вообще, если бы Пушкин к нему по особому не относился, то много было таких, о которых и вспоминать не стоит... Казалось бы, символисты уж тем более должны были его оценить. Но кроме Блока никто не воздал ему по достоинству. Зато такие противоположные лагеря как акмеисты и футуристы вцепились в него – без Языкова во многом невозможны и Маяковский, и Хлебников, и Пастернак, и Мандельштам, и целый ряд открытий Гумилева и Ахматовой.

Но еще до того Бунин не очень заметно, но, как всегда, «против течения», осваивает поэтический опыт Языкова в полной мере.

Так что же произошло? Почему бывший толстый закомплексованный мальчишка, через много лет, умирая от сифилитической сухотки мозга, превратившийся в живые мощи, с жидкой смешно торчащей бородачкой и иссохшим лицом, только глаза остались те же – голубые и лучезарные, ставший к тому времени знаменем и оплотом «крайне правого реакционного крыла славянофильства», выплеснул и в это глухое время «своей мелкой озлобленности на весь мир и нарастающей неряшливости в стихе» такое, что и Жуковский и Гоголь готовы были считать его равным Пушкину – а потом оказался надолго затоптанным временем?

И дело не только в том, что рядом с Пушкиным становился приглушенным свет любого гения и их потом уже «не замечали». Дело в самой грандиозной эпохе, когда все было преувеличено – воистину, одна из тех эпох, когда из горчичного семени вырастали огромные деревья. Тынянов правильно отмечает, что в те времена все было гениальным, даже графоманство. Написать «Весну зимы являет лето», как граф Хвостов, мог только совершенно гениальный в своем графоманстве графоман, в другие эпохи этого быть не могло, говорит Тынянов.

И он абсолютно прав.

Но для того, чтобы до конца понять эту эпоху и присутствие Языкова в ней, надо понять невообразимое. Это была эпоха, в которую изменился сам ход времени, из земного и материального время перешло в ту категорию, когда оно само перестает существовать.

На подобное вторжение иного времени в земные измерения эти самые земные измерения должны были отреагировать, чтобы не разрушиться. Это не Николай Первый запустил колесо уничтожения (и самоуничтожения России) от убийства Пушкина до убийства Лермонтова и до разгрома всего, чем дорожили Лермонтов и Языков (мы этого еще коснемся), это его руками природа нашего мира воспротивилась (в общем-то, вполне по повести Стругацких «За миллиард лет до конца света»).

В истории несколько раз время вырывалось за пределы земного, и каждый раз это выплеск подавлялся и уничтожался. Так было в Шекспировскую эпоху, когда где-то до 1606 года время в его земном измерении перестало существовать (и как это совпадает по срокам со всем происходившим от России до Испании, где Лопе де Вега начал последний отрезок пути; а уж как Кальдерон-то ворвался к Пушкину и Языкову – об этом отдельный разговор!) Так было во времена Катулла и Овидия, парадоксальным – а может, вовсе и не парадоксальным – образом соотносившимся с величайшими сроками уничтожения времени земного.

Так происходило и в лучшее время Пушкинской эпохи, когда вроде бы слабый и тоненький, но неумный корень, протянувшийся от елизаветинских времен, потщился дать ростки (и лозу) в полную силу во время 1820-х – 1830-х годов. Ключевский, в своей работе «Евгений Онегин и его предки», совершенно правильно отмечает, что поколение Пушкина и Онегина было много большим обязано елизаветинским «дедам», чем екатерининским «отцам».

Для того, чтобы понять, что тогда происходило, надо принять невообразимое. Даже Гегелевская диалектика (в отличие от диалектики апостола Павла) твердит нам, что есть либо детерминизм, либо свобода воли. Но надо хоть как-то принять, что существует и то, и другое. Да, ход времен предопределен. Но в зависимости от каждого свободного поступка любого человека, которому дана свобода воли, эта предопределенность тут же перестраивается, она перестраивается каждую долю секунды и до бесконечности, и при этом остается предопределенностью. Предопределенность не изменяет себе, она заранее предвидит последствия свободы каждого из нас, но при этом не перестает удивляться, что эта свобода осуществляется.

Пока мы не примем, что предопределенность и полная свобода существуют вместе и что в каком-то другом измерении между ними противоречия нет, мы ничего не поймем в «золотом веке» русской поэзии.

И порой возникает литература, умеющая выражать эту многомерность времени. О том, как художественное время становится временем реальным, нам в связи с Языковым сколько-то придется поговорить.

Поэтому не удивляйтесь, если разом прозвучат абсолютно противоположные взгляды на тот или иной эпизод жизни Языкова, на ту или иную сторону его творчества. Тот случай, когда противоположности сходятся, когда без напряжения между ними нет объема и глубины.

Пролог, или Точка отсчета

1

В связи с ликвидацией Свято-Данилова монастыря и, соответственно, уничтожением Даниловского кладбища было принято решение прах «самых уважаемых покойников» перенести на Новодевичье кладбище. Что 31 мая 1931 года (в день полнолуния, когда мертвецы выходят из могил, а некоторые, говорят, и кровь сосут) и было осуществлено.

Все «были» и былины, мифы и легенды об этой беспримерной акции сосредоточены прежде всего и исключительно на переносе праха Гоголя. И сколько вокруг вскрытия могилы Гоголя вполне достоверных, с бытовыми деталями, живописных страшилок! И череп Гоголя был странно повернут (мол, все-таки, видимо, живым его похоронили), и страшные несчастья посыпались на тех, кто участвовал в перезахоронении, а в первую очередь на тех, кто позволил себе «сувенир на память» взять – кусок ли полуистлевшего сюртука, сапог ли; вроде, даже ребро Гоголя кто-то прихватил... И нигде никогда не промелькнет, что вместе с могилой Гоголя вскрыли и могилу замечательного нашего поэта Николая Языкова, одного из ближайших его друзей. А по духу, возможно – самого близкого ему человека. Не просто так Гоголь указал в завещании, чтобы его обязательно похоронили рядом с Языковым! Как по жизни они добредали вместе, как легли потом рука об руку, так вместе и поехали на Новодевичье кладбище. Но трясущийся в тот день в грузовике по улицам Москвы гроб Языкова прошел бледной, почти призрачной тенью рядом с гробом Гоголя. А ведь было в жизни Языкова немногим меньше загадочного и мистического, чем в жизни Гоголя – даже странно, что на «месть праха Языкова» никому не пришло в голову списывать всяческие последующие неприятности. Гоголь да Гоголь – заладили...

Хотелось бы понять, что чувствовала «литераторская делегация» уполномоченных наблюдателей за перезахоронением – Юрий Олеша, Михаил Светлов, Всеволод Иванов, Владимир Лидин, другие – взирая, как раскрывается земля под лопатами могильщиков, как обнажаются кости и останки погребальных облачений – жилеты, сапоги... Перехватило ли дыхание, когда увидели, чем стали автор «Шинели» и автор «Пловца», ощутилось ли тогда, что на самом деле в этих славных останках их уже нет, а по-настоящему есть они – в языке, который мы впитываем с рождения и которым дышим не меньше, чем воздухом? В том их подлинная жизнь остается, о чем писал Языков, в «предстоянии ангельским ликам» над «колебаниями земли». А уж «колебаний земли» он изведal немало – порой сам себе их создавая... Уважение к праху нам самим нужно, а не им – чтобы чувствовать тонкую связующую ниточку между землей и небом, ее так легко порвать...

Или – пережившие ужасы Первой мировой, гражданской, классовых чисток, первых лагерей и уже прокатившейся коллективизации они привыкли и к ценности ушедшей жизни относиться иначе, и ничто их не могло смутить и возмутить? Не верится. Скорее – аукнулась некоторая забытость и даже отверженность Языкова. Создатель нескольких одиозных политических стихотворений против Герцена, Белинского и вообще всего революционно-демократического крыла русского общества, глава чуть ли не самой реакционной и мракобесной линии в русской поэзии – что после 1917 года стало вообще тягчайшим грехом – он, говоря языком той эпохи, угодил в разряд «вспоминаемых, но в меру неупоминаемых». Да, через три года, в 1934, вышло самое полное собрание поэзии Языкова, огромный том с подробнейшими комментариями. Казалось бы – реабилитирован. Но не надо забывать, что этот том вышел в серии, где не менее основательно были изданы почти все поэты пушкинской эпохи, намного меньшие, чем

Языков, по дарованию и значению. А так – красивая галочка поставлена. Языков все равно возвращался к читателю, достаточно мощно возвращался, потому что поэт такого масштаба – «не рукавица, С белой ручки не стряхнешь, Да за пояс не заткнешь», как ни старайся; с начала 1970х годов количество изданий его стихов вообще довольно резко идет вверх, но все они делаются... какое бы слово подобрать?... стыдливо. Стыдливо говорилось и о последних годах его жизни.

А кого не смущали политические взгляды поэта (и даже нравилось, что был хоть кто-то, противостоявший этим революционерам, из-за которых живешь теперь в убогой советской действительности, в «совке»; и его осуждаемый национализм для кого-то становился всё привлекательнее), тем сурово напоминали, что Языков и по жизни был дрянцом, злым и завистливым, злоупотреблял дружбой Пушкина, при этом отчаянно завидуя ему и говоря о нем гадости у него за спиной: считал, видите ли, несправедливым, что первым поэтом России признают Пушкина, а не его, Языкова... Ну, а раз на солнце русской поэзии ядом плевал, то, сами понимаете... Он ведь и умирал зло и нехорошо, с той же черной завистью к Пушкину, с ненавистью ко всем, кто останется жив, когда его не станет. Вот как, даже на смертном одре не изменился? Нисколько, уверяем вас, и такой был ничтожный конец после такого блистательного начала!

Поэтому имеет смысл начать не с начала, а с конца, с «одиозных» последних дней и даже часов земного существования поэта – чтобы увидеть, с каким итогом подошел он к последнему рубежу. Не будем забывать, впрочем, что «В моем начале – мой конец, В моем конце – мое начало», и порой с конца начинать естественнее, чтобы тем вернее начало постичь (эффектный прием, используемый во многих фильмах: сначала видим героя в старости, чтобы мы сразу поняли, что с ним стало, и вдруг, под резкий музыкальный перебив, переносимся в его юные годы; вот и мы будем такое «кино снимать»). Сразу предупреждаю, картина будет не без подвоха: вместе с тем, что наверняка было на самом деле, я буду примешивать, часто без зазрения совести не беря в кавычки и не оттеняя от собственных мыслей, все пренебрежительные штампы, все брезгливые банальности, с которыми критика и история литературы чуть не двести лет описывала характер и личность Языкова, «закономерно» приведшие его к печальному финалу. Зачем? Да чтобы вы сами убедились, какую гору грязи набросали за это время на фигуру поэта и в какую окаменелость превратилась эта грязь: до истины не пробиться. Тем более, что всякий, вдохновленный поэзией Языкова и начавший интересоваться его личностью, сразу узнаёт, что эта окаменелая грязь – прописные истины, с которыми, увы, ничего не поделаешь – и понуро отступается.

Чтобы, когда мы, в конце книги, по расширяющейся и раскручивающейся спирали вернемся к этим последним дням, вы оказались достаточно вооружены для собственных оценок, чему верить, а чему нет.

Но прежде всего, прочтите внимательно.

«Я давно уже не имею от тебя писем. Ты меня совсем позабыл. Вновь приступаю к тебе с просьбою: все сказать мне по прочтении книги моей, что ни будет у тебя на душе, не смягчая ничего и не улаживая ничего, а я тебе за это буду в большой потом пригоде. А если у тебя окажется побуждение к благотворению, которое ты, по доброте своей, оказывал мне доселе (я разумею здесь пересылку всякого рода книг), то вот тебе и другая просьба: пришли мне в Неаполь следующие книги: во-первых, летописи Нестора, изданные Археографическою комиссиею, которых я просил и прежде, но не получил, и, в pendant к ним, «Царские выходы»; во-вторых, «Народные праздники» Снегирева и, в pendant к ним, «Русские в своих пословицах» его же. Эти книги мне теперь весьма нужны, дабы окунуться покрепче в коренной русский дух. Но прощай; обнимаю тебя. Пожалуйста, не забывай меня письмами...»

(Гоголь – Языкову, из Неаполя, 8(20) января 1847 года; Языкова нет на свете уже тринадцать дней, о чем Гоголь еще не знает.)

«...По прочтении книги моей» – «Избранные места из переписки с друзьями», где Гоголь в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенности» дал развернутый и восторженный разбор поэзии Языкова и очень волновался, как его ближайший друг эту статью воспримет. Книга прибыла по адресу, когда Языкова уже не стало.

Сама интонация письма говорит о многом. И мы в свое время вернемся к этому письму.

Рождественский финал

2

«Кто только не совершенно чужд событиям русского литературного мира, тот мог встретить здесь наступивший год с двумя впечатлениями разнородными, но равно резко означившимися. Одно из них порождало в нас печальное и безнадежное сочувствие, под которым потрясается и изнемогает душа при утрате, на которую смерть положила свою печать несокрушимую. Другое отзывалось в нас звучным выражением жизни и открывало пред нами в области мышления светлые просеки, пробуждало в нас новые понятия новые ожидания. В первый день 1847 года пронеслась в Петербурге скорбная весть о кончине поэта Языкова и появилась новая книга Гоголя. По крайней мере, я в этот день узнал, что не стало Языкова, и прочел несколько страниц из «Переписки с друзьями», где между прочим начертана верная оценка дарованию Языкова. Эти строки обратились как бы в надгробное слово о нем, в светлые и умиленные о нем поминки. Это известие, это чтение, эти два события слились во мне в одно нераздельное чувство. Здесь настоящее открывает пред нами новое будущее; там оно навсегда замыкает прошедшее, нам милое и родное...»

П. А. Вяземский

За несколько часов до смерти Языкова: из Слова митрополита московского Филарета (Дроздова) на Рождество Христово 1846 года; произнесено 25 декабря 1846 года (по старому стилю) в Московском Чудовом монастыре, на Рождественской Заутрени:

«...Нарицается имя его: Князь мира, Отец будущего века: вот великие преимущества Сына Вышняго, дарованного нам! Князь мира, то есть, Начальник мира, великий Миротворец или Примиритель. Так Иисус Христос называется потому, что Он примирил и доньне примиряет людей с Богом и между собою, Как Искупитель и Единый вечный Ходатай Бога и человеков...»

В середине дня светлого праздника Рождества 1846 года, после ранней литургии, все друзья и близкие съехались к Николаю Михайловичу Языкову, поздравить его и поддержать. Одолеваемый болезнью, Языков опять лишился ног – не мог ходить, все дни проводил или просто в кресле или в кресле-коляске, возимый слугой. Кто был? Во-первых, Хомяковы, Алексей Степанович и Екатерина Михайловна, в девичестве Языкова, младшая и любимая сестра Николая Михайловича. В свое время он был счастлив, что его сестра выходит замуж за его ближайшего друга, отказав Мотовилову, который после этого подался в Дивеево, «в службы» к Серафиму Саровскому... Впрочем, иногда незлобие Хомякова, его готовность понимать и сочувствовать очень далеким, даже враждебным ему, взглядам, если эти взгляды высказывают люди достойные, раздражает Языкова. Очень многое его раздражает, и иногда он сам пугается злости, поднимающейся в нем высокой волной... Точнее, не пугается, а что-то похожее на стыд и сомнение украдкой его тревожит. Нет ли в этом желании обидеть, лягнуть побольнее элементарной зависти к тем, кто способен наслаждаться жизнью во всей полноте, кто не думает о том, что срок его жизни жестко отмерен, что жизнь может кончиться сегодня или завтра, и все будут продолжать дышать, спорить, заниматься тем, что им кажется самым важным – а его-то уже не будет? Не переносит ли он на весь мир то свое отношение к бедняку-поденщику, в

котором когда-то (и, вроде бы, не так давно) сознался со вздохом облегчения – со слишком временным и недолговечным вздохом облегчения, как теперь выясняется?

Поденщик, тяжело навьюченный дровами,
Идет по улице. Спокойными глазами
Я на него гляжу, он прежних дум моих
Печальных на душу мне боле не наводит;
А были дни – и век я не забуду их —
Я думал: боже мой! как он счастлив! он ходит!

Но чаще ему нравится в себе это вечно раздраженное состояние духа, эта напряженная готовность ввязаться в спор, в самую непримиримую схватку, не следя за словами и слов не выбирая, рняя словами насмерть и прощения за это не прося... Проявляется в этом, мерещится ему, неравнодушие к жизни, подлинная готовность защищать то, что свято и правильно – и он, больной, уходящий, он больше жив душой, чем те, которые остаются, они-то, молодые и слабые, могут отступить от идеалов, это он, старый боец, идет до конца...

Хомяков. Ближайший человек, которому самое сокровенное можно доверить. Но и этот ближайший человек почему-то тянется к отвратительному предателю народа и веры, к этому «маленькому аббатику», как его некогда – достаточно мягко – назвал Денис Давыдов, сам-то Языков величает его не иначе, как «старым плешаком»... к Чаадаеву... Небось, и сегодня успел завернуть к нему и поздравить с Рождеством... или поедет ближе к вечеру... как такое возможно?

Да, Чаадаев. Два года назад написал Языков резкое, жесткое послание – «К ненашим», и большую бурю это послание вызвало.

Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все – не русской вы народ!..

Он-то прежде всего бил по Грановскому, Белинскому, Герцену... Чаадаеву тоже слегка досталось, походя, но он его в «знатных врагах» не числил... И тем обиднее был отзыв Чаадаева – который, конечно, ему сразу передали: «Вот стихи, которые совершенно доказывают, что не обязательно иметь здравый смысл для сочинения самых прекрасных в мире стихов». Вроде бы, не отказал Чаадаев его посланию ни в жаре, ни в гармонии, ни в высшем вдохновении, которым оно продиктовано, но самое главное походя зачеркнул одной фразой – мысль, то, что в этих стихах и мысль есть, что не прежний Языков поэт «жизни забубенной», что философ он теперь и провидец неисчислимых бед, которые эти «ненаши» готовы на Русь накликать! Такая обида разобрала, что не сдержался и накатал послание лично Чаадаеву, и там уж по всем косточкам «плешака» разобрал!.. И было это... ровно два года назад 25 декабря 1844 года, в Рождество папского холопа приветил!

И никто не поддержал тогда... Даже Гоголь, один из немногих, кто приветствовал «К ненашим» – «Сам бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи «К не нашим». Душа твоя была орган, а бряцали по нем другие персты. Они еще лучше самого «Землетрясения» и сильнее всего, что у нас было писано доселе на Руси...» – даже Гоголь к следующему посланию отнесся кисло – «...не скажу того же о двух посланиях: «К молодому человеку» и «Старому плешаку». О них напрасно сказал ты, что они в том же духе; в них, скорей, есть повторение тех же слов, а не того же духа... Это не есть голос, хоть и похоже на голос, ибо оно не движнито теми же

устами. В них есть что-то полемическое, скорлупа дела, а не ядро дела. И мне кажется это несколько мелочным для поэта...»

Гоголь-то понимает его как никто, как и он Гоголя, но... Но тут бы не согласился... Неужели и впрямь – «духа не было», и пытался он гремящим пустословием скрыть... что скрыть? Почему-то, когда писались эти стихи, два года назад, вспомнился невольно 1831-й год, и то, что только двое – он сам да Чаадаев – были до конца непримиримы к ядовитому польскому бунту, только они двое видели, до какого крушения нации может довести потока-ние безумной злобе мятежников... Все остальные... Денис Давыдов, и тот добродушно посмеивался, это добродушие и в его «Хватай, собака» ясно слышится, больше на бездарных наших генералов негодовал, чем на поляков, которые, спасибо, мол, им, дали лишний повод военное мастерство отточить... Пушкин завел речь «про старый спор славян между собою...» Слишком по-домашнему, слишком умилительно, и то на него многие ополчились. Вяземский, тот вообще брезгливо от Пушкина нос отворотил: «Охота была тебе шинельные стихи писать...» А Пушкин показывал письмо Чаадаева про «Бородинскую годовщину» и «Клеветникам России», письмо, что только с этих стихов Пушкин стал наконец воистину национальным поэтом, «угадал, наконец, свое призвание», что в его отпоре врагам России «больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране...» Ага, мелькнуло все-таки его презрительное, что не было у нас ни смысла, ни истории... И все же...

Сам он не мягче Чаадаева высказывался. Правда... Ну да, орал тогда, в дружеском кругу, пьяной истерикой посчитали, чуть не под локотки на свежий воздух вывели проветриться. То, что Чаадаев сказал веско и солидно, он сам, получается, выдал... выдал в виде чего-то вроде пародии, таким тогда многим и нарисовался, во время польских событий, пародией на Чаадаева, неумным пылом опошляющий все, что этот великий мыслитель изрек... Репетилова сам из себя сделал... Но не в том же дело было, не в том суть заключалась... Сорвался он, да... Эх. Татьяна, Татьяна Дмитриевна... А что теперь толковать?

Неужели, когда писал, одна подспудная мысль в голове сидела: «ну-ка, посмотрим теперь, кто из нас пародия?» Учужал ли Гоголь вот это – истинное – не за правду постоять, а свести старые счеты, за собственные дурость и ничтожество рассчитаться, оттого и заговорил про мелочность, про скорлупу без ядра? Нет, не может быть, он честен был перед собой... Однако ж, недаром молимся мы об отпущении грехов, совершенных «яже в ведении и в неведении», порой нам самим неведомо, что нами движет, умеем себя убедить, что на бескорыстный подвиг идем, когда льстим своему тщеславию и себялюбию. А в поэзии все сразу проявляется; истинное чувство, которое поэтом двигало, любому внимательному уху прозвучит, за любыми красивыми словами фальшь проступит, потому что есть внешнее, вроде белил и румян на угасающей прелестнице, а есть внутреннее, настоящее, есть «лики слов», как он это назвал, и эти лики могут быть радостными или скорбными, в зависимости от того, насильно ты выстраиваешь слова или по доброй воле они для тебя строятся. И когда ряд скорбных ликов перед тобой возникает, тогда, нечего делать, отпуская слова на волю, вымарывай строку или всю строфу, потому что каким-то образом ложь тебя на свои пути увлекла. Странное это дело. Напишешь «Я вас люблю», любви не чувствуя, а то ли из угодливости, то ли надеясь хорошенькую головку вскружить, и такой скорбный вид будет у этой фразы, что, кажется, любому читателю твое пустое коварство явлено как на ладони. А напишешь, чувствуя в груди горький огонь, от которого тоже остается зачастую лишь пепел стыда, осевший на твоём самообмане – и слова смотрят радостно и открыто, и во всех сердцах те же самые слова отклик находят, и звучат для читателей будто их собственные...

Поэзия в том и состоит, чтобы брать главное, откидывая второстепенное, промежуточное, мелкие ступени между основными мыслями и образами, лишь тогда слова сомкнутся так, что и искры от них полыхнут, и удесятеренная сила в каждом из них заиграет...

Легче стало и спокойней от этих мыслей, растекавшихся волжским весенним разливом в пространстве поэзии и отделявших самым своим течением высокую злость поэтическую от ветреной и глупой злобы дня; но осадок на душе сохранялся, неприятный, обидный и горький, вроде привкуса желчи во рту, и хотелось от этого осадка избавиться, передернуть карты мило текущего разговора – слишком мило текущего, со слишком явной заботой о спокойствии больного поэта, а зачем ему это надо? – чтобы кто угодно другой обнаружил у себя на руках растреклятую двойку пик.

Повернул голову, думал съязвить Хомякову насчет «его нежной любви к старому плешаку», но обнаружил, что чуть упустил момент, нить разговора упустил, отвлекшись мыслями, про Слово митрополита Филарета толкуют, службой его восхищаются... И шурин, и сестра, и братья Киреевские... Милейший Петр Васильевич, добрейший и честнейший человек, если есть святые люди, то младший Киреевский из них, а ведь тоже высказывал Языкову свое недоумение и возмущение по поводу боевых его посланий, «К ненашим» и «К Чаадаеву», и старший брат высказывал, и молодой Аксаков, и Каролина Павлова, все, кому он беззаветно доверял... А потом, тот же Петр Киреевский ответил Грановскому в ответ на то, что, мол, за такие оскорбления стреляться надо, мол, не литературная это уже полемика, а политический донос, но Языков инвалид, что ж с него возьмешь: «Я готов за Языкова принять вызов на дуэль, назначайте время и место». И ведь на попятную Грановский пошел.

А он и по милейшему Петру Васильевичу прошелся. Младший Киреевский уже много лет собирает свод народных песен, да все показывать не хочет, пока, видишь ли, до ума работу не доведет. Подумать – так великое дело делает. Но обидно вдруг стало, что Петр Васильевич все песни под себя да под себя. Не выдержал: «Петр Васильевич уехал или заехал к себе в деревню и там уселся и засел и продолжает не издавать свое драгоценное и единственное собрание русских песен, т. е. пребывает с ними, глядит на них, ласкает их и ровно ничего с ними не делает. Это похоже на то, как поступают крысы с серебряными и золотыми вещами: они стаскивают их к себе в подполье, где этих вещей никто не видит, а сами крысы ими не пользуются. Но ведь крысы не берутся за не свое дело: не провозглашают себя собирателями и обнародователями своих драгоценных собраний!!»

И это Петр Васильевич перетерпел и простил. И зачем он, Языков, так святого человека, которому и без того несладко... Тем более, что и у старшего, у Ивана Васильевича, свои большие нелады, которые младший очень переживает – да кто из нас не переживает. Пятнадцать лет немоты с тех пор, как обозлился государь император на журнал Ивана Киреевского «Европеец», имя его для печати до сих пор запрещено. В прошлом году надежда засветила, готов был Погодин Киреевскому «Москвитянин» передать, Иван Васильевич даже несколько номеров подготовил, в надежде на несомненное разрешение после стольких-то лет опалы – ан нет, от ворот поворот! Совсем эта история его убила. А умница какой, философские работы какие – любым европейским философам нос утрет.

Многие так и уверены, будто я не знаю, что статья «неизвестного автора» за подписью Y-z о творчестве поэта Языкова ему принадлежит... А прознай наверху, что «неизвестным автором» был Иван Васильевич Киреевский, которому под любыми псевдонимами запрещено печататься – никому бы не поздоровилось.

И в это же время разрешили Белинскому, Тургеневу и молодым с ними, Некрасову и Панаеву, пушкинский «Современник» перекупить. Они, конечно, фигурой Никитенко прикрылись, но направление-то ясно; ясно, по кому, куда и как бить будут. Гоголю уже отписал: «Вот тебе животрепещущие новости нашего литературного мира: «Современник» купили Никитенко, Белинский, И. Тургенев и прочие такие же, следственно, с будущего 1847 г. сей журнал, основанный Пушкиным, будет орудием шелкоперов...» Ничего, и здесь повоюем! Этим самым, им лишь бы историю перекроить, доказав, что до них ничего толкового не было.

Подняли на щит первую повесть какого-то Достоевского. Про которого я уже прямо высказался, что он лишь слабый эпигон Гоголя, и ничего больше...

Петр Васильевич говорит об удивительной теплоте Филарета, вспоминает его недавнее Слово памяти Сергия Радонежского, так всех поразившее:

– «...Желал бы я узреть пустыню, которая обрела и стяжала сокровище, наследованное потом Лаврою. Кто покажет мне малый деревянный храм, на котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятыя Троицы?.. Дайте мне облобызать праг ее сеней, который истерт ногами святых и чрез который однажды переступили стопы Царицы Небесной... Посмотрел бы я, как позже других насажденный в сей пустыне Преподобный Никон спешно растет и созревает до готовности быть преемником Преподобного Сергия. Послушал бы молчание Исаакиево, которое, без сомнения, поучительнее моего слова».

А вот это надо осмыслить...

– Да, – задумчиво произносит Языков. – «Послушал бы молчание Исаакиево...» Как это верно. Кто не умеет молчания слушать, тот и слова не услышит. А порой, только молчание остается, чтобы слово сохранить, изначальное и безначальное. Нам слово дано не для того, чтобы на потребу дня его выносить, предметом выгодного торга...

Он перехватывает взгляд Ивана Киреевского, понимает, о чем тот невольно подумал: молчание не равно насильственной немоте, молчание добровольно принимается, и, при всем сострадании к Ивану Васильевичу, – а может, из-за него именно, – начинает заводиться.

– Однако ж, мнится мне иногда, что Филарет больше порой актером бывает, чем истинно чувствующим пастырем. Вот это слово в память Сергию, оно небывало, я его и Гоголю послал. Но обратите внимание, все проповеди у него по одной методе построены, по совершенно расудочной, и сама эта удобная метода позволяет слушателями и читателями завладеть. Взять одну фразу и вести ее рефреном, разные грани ее смысла освещая... Когда один раз навык к таким построениям появился, то можно сколько угодно замечательных речей одну за другой прочеканить, с одного штампа. Это как ямб четырехстопный: один раз толком овладев, всегда писать гладко будешь, да только гладкость-то эта – гладкость скольжения по льду, а не борьбы со встречными волнами. Скользят по льду коньки, а внутрь не проникают, лишь ротозеям на радость, как ловко перед ними вензеля выписывают. Вот и получается, что имеем мы повторение слов, а не духа, скорлупу дела, а не ядро дела.

– Где ж там вензеля? – спрашивает Петр Киреевский.

И Шевырев успевает вступить:

– Перед ловким актером Пушкин бы не склонился, не был бы потрясен.

Ну да, ну да, эта история с обменом стихами между Пушкиным и Филаретом. Всем известно. Пушкин написал:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?..

А Филарет возразил, горячо и скоро:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомнением взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум!

И Пушкин откликнулся:

...Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

– При чем тут это? – возражает Языков и Шевыреву и Петру Васильевичу. – Я о другом, о конкретном. Вот, новое слово о Сергии Радонежском – о пути воинов Христовых. Разве равно оно первому?

– Что ж тебе в нем не нравится, Николай Михайлович? – спрашивает Хомяков.

– Да хотя бы то, что... – он медлит. Опять приходит на ум, что и этот спор он затевает не для того, чтобы установить истину, а для того, чтобы обойти подальше, путем глухим и окольным, самую главную – сердечную – истину, оставить ее покоиться в стороне; чтобы она не преследовала, не жгла, чтобы затерялась где-то вдали за суетой жарких дебатов о пусть насущном, но отвлеченном и умозрительном... Истина проста. «Снова Пушкин собирает плоды с поля, на коем ни зерна не посеял». Его собственные слова, от них не отречешься. Как же так, мучился он в то давнее время: Пушкин, который все превращает в игру, который завтра же бросит высокий диалог со святителем ради самого низменного и пустячного предмета, чтобы послезавтра опять обратиться к высокому – не разберешь, в шутку или всерьез – получает на века запечатленное благословение Филарета, а он, проделавший такой мучительный путь, чтобы стать «певцом Руси святой», снова остается небрежно задвинутым в тень... И это после всего... С тех пор все ярче сияла звезда Филарета, все дальше расходились ее лучи, и каждый лучик, достигавший Языкова, напоминал о том давнем грехе злоязычия, и хотелось этот лучик оттолкнуть, загородиться от него ставнями и плотными экранами, только бы воспоминание больше не язвило... А главное, и это воспоминание было не окончательным, оно было следствием и проекцией другого, более раннего и более стыдного воспоминания, которое вообще хотелось навеки похоронить. Хмельной угар студенческой жизни, когда самые площадные и похабные шутки друзей кажутся самыми лучшими в мире, и, главное – боишься, что они тебе такими не покажутся, если хоть на секунду протрезвешь, и подобострастно, с боязнью потирать друзей, смеешься им, после чего сам остришь еще хлеще... «Поп» Филарет был едва ли не главным центром ненависти и презрения, но сам-то он к Филарету никаких дурных чувств не испытывал, так почему же он... Нет и еще раз нет! Не вспоминать! Он предаст память друга, если хоть раз самому себе признается, что его коробило тогда...

Наконец, Языков медленно произносит:

– Не нравится мне, что он слишком логичен! Немосковская холодность в этом есть!

– У него логика сердца, – возражает Хомяков, – особая логика. И что плохого, если логику сердца поддержит логика высокого ума?

– А я в этом вижу, – упорствует Языков, – дурное влияние католицизма, все сокровенное и нераздельное на составные части разложить тщася, в гордыне своей. Недаром так нра-

вится владыке московскому у старого плешака бывать, недаром старый плешак его проповедь во французский журнал перевел!..

Вот оно, вырвалось!

Что-то, однако, зацепило Языкова – нет, не доводы Хомякова и прочих друзей, а нечто, промелькнувшее рядом с этими доводами, некое сочетание слов, невольно аукнувшееся его потаенным мыслям. И взгляд его другим сделался.

– Ну, начнем с того, – с улыбкой отвечает Хомяков, – что Чаадаев и меня для французских журналов переводил, и Шевырева, считая важным, чтобы Европа наше направление мыслей узнала. Во-вторых, он перевел не что-нибудь, а Слово митрополита Филарета... кстати, своего духовника, а не просто бездельного частого визитера... на освящение храма в московской пересыльной тюрьме, чтобы вся Европа увидела, как велики у нас дела милосердия и какой свет готов нести митрополит самому последнему преступнику. В-третьих, они, на перекрестье своих взглядов и знаний, сумеют, возможно, найти какой-то ответ на вопрос, который так важен для наших молодых друзей... подкажут пути решения...

– «Уничтожение религиозной розни между славянскими племенами», – негромко вставляет пояснение Петр Киреевский.

Языков кивает. Это-то ему понятно. Не так давно вошли в их круг очень толковые, очень дельные молодые люди, основатели нового тайного общества – Кирилло-Мефодиевского, или, как еще его называют, Украино-Славянского. Петр Васильевич процитировал один из пунктов их программы. Еще в эту программу входят: освобождение всех славянских народов от ига и создание свободной федерации славянских государств; номинальным главой этой федерации мыслится русский царь, но именно – номинальным, прав у него будет меньше, чем у английского короля, а решать все важные государственные вопросы будут представители независимых парламентов – дум, скупщин, называй, как хочешь – членов федерации. Украина станет практически свободным государством, независимым от России, так же, как и Польша, но именно эта независимость обеспечит прочнейший федеративный союз всех народов на вечные времена... Ясно, что для достижения этой цели жизненно необходимо найти способы прекращения религиозной вражды между народами, чтобы и православные, и польские католики, и чешские протестанты равно чувствовали себя в федерации как дома, чтобы истинное братство установилось...

Языкову больше всего нравится резкий и жесткий Чижов, многим другим – рассудительный и уравновешенный Костомаров. Хомяков и Иван Киреевский вообще видят в Костомарове большой талант, говорят, он может стать одним из лучших русских историков. Дошли слухи, что в общество вступил обретший уже известность художник и поэт Тарас Шевченко...

Чижов очень хороший проект нового журнала разработал; если, Бог даст, получится у него наладить издание – этот журнал общеславянского направления все другие журналы за пояс заткнет. Найдется место и Ивану Васильевичу, у которого столько накоплено ненапечатанного. Не вечно же царь будет под замком его талант держать! Языков уже приготовил деньги в помощь изданию журнала, тридцать тысяч рублей, и в завещание внес условие, что, буде умрет он до того, как Чижову деньги передаст, эти деньги Чижову бы вручили.

Да, молодость в свои права вступает, славная молодость. И, может, делами этой молодости и его, Языкова, грехи искупятся. И, может быть...

Наступает момент, предельно ясно запомнившийся всем присутствующим. Языков, в наступившей паузе, обводит всех взглядом и вдруг спрашивает, изменившимся голосом:

– Скажите, вы верите в воскресение души?

Все замялись. Языков говорит:

– Отвечайте по очереди, каждый за себя. Ты?.. – поворачивается он к Хомякову. – Ты?.. – к сестре. – Ты?..

Молчание. Никто не знает, что сказать, настолько это неожиданно. Языков, не дождавшись никаких ответов, вздыхает:

– Я как раз впервые открыл одну книгу. Прочтите, и вы совершенно перемените свое мнение. Вон там, на полке... Дайте ее мне.

* * *

Здесь, наверно, нужно пояснение для современного читателя. Языков, верующий православный христианин (хотя нам еще придется говорить о его увлечении в молодости русским – и не только русским – язычеством, о любовании им), совершенно определенно верил в БЕССМЕРТИЕ души. Но вот что ждет бессмертную душу за гробом? Чем больше грешил человек в жизни этой, тем более он убивал свою душу, гласит учение, и душа приходит в мир иной МЕРТВОЙ, обреченной на бесконечные страдания, если только по милости Божьей не будет даровано этой душе ВОСКРЕСЕНИЕ и искупление грехов, которое приобретается лишь истинным раскаянием и покаянием. Но вот способна ли сама душа, в земной жизни грехами умерщвленная, подняться до подлинного покаяния, или груз грехов ей даже покаяться не даст и она не воскреснет, не поднимется – об этом и бывают споры. Приведем мнения нескольких отцов церкви, из самых относящихся к делу и больше всего проясняющих суть вопроса. Вот лишь три мнения главных отцов церкви.

Иоанн Златоуст: «Есть смерть телесная, есть и духовная. Подвергнуться первой не страшно и не грешно, потому что это дело природы, а не доброй воли, следствие первого грехопадения... Другая же смерть – духовная, так как происходит от воли, подвергает ответственности и не имеет никакого извинения».

Блаженный Августин: «Хотя человеческая душа поистине называется бессмертной, и она имеет своего рода смерть... Смерть бывает тогда, когда душу оставляет Бог... За этой смертью следует ещё смерть, которая в Божественном Писании называется второю. Её Спаситель имел в виду, когда сказал: «Бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне». Эта смерть тягостнее и ужаснее всех зол, ибо она состоит не в отделении души от тела, а в соединении их для вечного мучения».

Преподобный Макарий Египетский; «Истинная смерть – в сердце, и она сокровенна, ею умирает внутренний человек».

Достаточно, наверно, чтобы уяснить главное... Языков не о том спрашивал, не уходим ли мы все-таки в полное небытие, а о том, верят ли его близкие, что Господь, услышав стон покаяния из еще живого «гроба-сердца», отвалит каменную крышку этого гроба и даст восстать убиенной грехами душе.

Вопрос Языкова показывает: Языков воспринимал себя как недостойного грешника, душа которого может воскреснуть исключительно по милосердию Христову. Смирившись с таким взглядом на самого себя, он только одно хотел понять: есть ли надежда на милосердие. И получил ответ – или думал, что получил: есть.

Возможно, для кого-то пояснение это излишне. Но когда мы все советское время читали в предисловиях к сборникам Языкова: «За несколько дней до смерти он властно спросил окружающих, верят ли они в воскрешение мертвых. И услышав молчание, призвал повара и заказал ему все блюда и вина похоронной тризны и велел пригласить на поминки всех друзей и знакомых. Таков был его последний поступок, в котором человек высказался вполне.» (в издательстве «Советская Россия», 1978), и тому подобное и близкое к этому, то поневоле вскинешься: человек действительно ничего не понимает, или он сознательно путает такие разные вещи как «воскрешение мертвых» и «воскресение души», четко исполняя идеологическое задание, доказать, что все талантливые люди России были атеистами по сути? После таких передергиваний самые простые вещи хочется разжевывать и уточнять. А то ведь и впрямь не так поймут.

* * *

На следующий день, когда разнеслась весть о смерти Языкова, все близкие стали вспоминать название книги, в которой говорилось о несомненности воскресения душ и которую Николай Михайлович им накануне показывал. И – невероятная история! – никто эту книгу вспомнить не смог.

Иван Васильевич Киреевский, рассказывая в письме матери этот фантастический эпизод, пишет, что он представляет «очевидное и поразительное доказательство таинственного Божьего смотра о спасении и руководстве душ человеческих».

Языков умер 26 декабря 1846 года по старому стилю. По новому стилю датой его смерти ставят иногда 8 января 1847 года, что неправильно. На тот момент разрыв между грегорианским и юлианским календарями составлял не 13, а 12 дней, так что по новому стилю Языков умер 7 января 1847 года, не во второй день рождества (как даты сдвинулись – вот и еще одна дата по-своему оборачивается), а в самое Рождество, по меркам нашего века.

1 января 1847 года по старому стилю выходит из печати первый номер нового «Современника», поступает первым подписчиком.

Продажа книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» начинается 9 января, но близкие ему люди – Вяземский в том числе – получают первые отпечатанные экземпляры уже 1 января. Гоголь много пишет в этой книге о Языкове, ставя его выше всех современных поэтов. Но и не льстит ему. «В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них раздалась скучанья среди немецких городов, безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертво русскому духу...»

Скандал вокруг книги Гоголя заставляет быстро забыть скандалы, связанные с именем Языкова и его выступлениями.

Жизнь не стоит на месте.

Ф.В. Чижов то ли получает, то ли не получает по завещанию Языкова тридцать тысяч рублей.

То есть, по порядку.

В марте-апреле 1847 года австрийское правительство направляет секретную ноту российскому правительству: русский подданный Чижов уличен в крупных поставках оружия черногорским повстанцам, борющимся за независимость Черногории от Австро-Венгерской империи. Схватить его «на месте преступления» не удалось, поэтому Австро-Венгрия не решается арестовать российского подданного, но требует от России принять все меры, чтобы ее подданные больше не совершали действий, враждебных союзнику России по Священному союзу...

И здесь возникает еще одна загадка, с которой предстоит разобраться: братья Языкова отказались исполнять этот пункт его завещания и отдавать деньги Чижову, пусть хоть судится, если хочет; но других-то денег на оружие черногорским повстанцам, кроме полученных от Языкова (либо уже от его семьи), у Чижова быть, очень похоже, не могло; а если с еще одной стороны взглянуть, то для богатейшего семейства Языковых даже такая, крупнейшая по тем временам, сумма была тьфу, раз плюнуть отдать, так что тут дело не в жадности – в которой еще можно было бы заподозрить Александра Михайловича, но Петра Михайловича уж никак – а в чем-то ином... В чем? Братья отлично знали, что подразумевается под «деньгами на журнал» – и позаботились о том, чтобы иметь все основания формально откеститься от Чижова, если он попадется? Мол, сами видите, «языковских» денег в закупленном оружии нет – мы ж даже готовы были судиться, лишь бы деньги ему не отдавать, потому что подозревали, что не на журнал он их употребит... Может, брат перед смертью какую-то сумму Чижову и передал – но знал ли сам Николай Михайлович, на что реально пойдут его деньги – конечно же, нет.

А действительно, знал или не знал? Тут и мы остаемся в потемках. Можно лишь версии строить, зная характер Языкова и его страстное желание практическую пользу приносить, насколько возможно прикованному к креслу инвалиду.

Российское правительство уже донельзя встревожено доносом студента Петрова о деятельности Кирилло-Мефодиевского общества. Чижова арестовывают на границе. Он быстро ломается и начинает давать обширные показания, топя всех вокруг. (Внешне жесткие люди часто ломаются легче всего, и Чижов – очередное доказательство; если Петр и Александр Языковы раскусили его характер, то тем более не удивительно, что они со всех сторон обезопасились, чтобы вопрос о «языковских» деньгах не всплыл; а тут выясняется, что не только на оружие деньги шли, очень крупные суммы переданы чешским патриотам на патриотическую литературу и другие методы мирной борьбы за самостоятельность – опять-таки, откуда взялись эти суммы?..) Из доноса Петрова и показаний Чижова общая картина возникает предельно ясная. Император в ярости: хотели сильно ограничить его власть! Подстрекали народы, принадлежащие союзникам России по Священному союзу, Пруссии и Австро-Венгрии, восстать против своих законных правителей! Готовы были вызвать войну с Турцией ради болгар! Украину чуть не в отдельное государство хотели выделить!.. Начинается лютая расправа. Костомаров в крепости, Шевченко начинает свой долгий страдальческий путь. Специальным циркуляром от 31 мая всем российским подданным объясняется, что они должны считать себя только русскими, во всем покорными государю императору, «без воображаемого славянства». Любой намек на братство славянских народов объявляется преступным. Неожиданный кус выпадает Краевскому: его вызывают в Третье Отделение и передают личную благодарность государя императора за напечатанную в «Отечественных записках» статью против славянофилов (отправленную в печать еще до всей бури). После этого следует новое повеление: о славянофилах вообще ничего не печатать, ни хорошего, ни дурного, как будто их вовсе не существует.

А уже близко революционные грозы 1848 года...

Новые времена, в смуте которых быстро задвигается в прошлое и забывается поэзия Языкова. От чуть ли не второго после Пушкина властителя дум в 1830-е годы он низводится до «одного из самых талантливых второстепенных поэтов пушкинского круга». В энциклопедии Брокгауза-Ефрона, в конце девятнадцатого века, слышим брюзжание: «...при более благоприятных условиях, из Языкова мог бы, вероятно, выработаться настоящий художник, но он навсегда остался только дилетантом в искусстве, впрочем, таким, у которого бывали подчас просветы истинно высокого художественного творчества. Главные мотивы поэзии Языкова – именно те самые, которые он ценил выше других, провозглашая себя «поэтом радости и хмеля», – нашли себе выражение в форме далеко не всегда художественной; его вакхический лиризм часто является слишком грубым; большая часть стихотворений отличается невыдержанностью тона, иногда – неудачным подбором выражений, иногда – искусственностью образов и сравнений...» Лишь начиная с Блока просыпается новый интерес к Языкову, а спустя несколько лет акмеисты и футуристы уже не могут обойтись без него. С каждым новым поколением поэтов растет его влияние. Языковские интонации отчетливо различимы у Мандельштама и, в особенности, у Пастернака, явно проступают его голос и его темы в «поэзии бардов» (хотя, например, в песне Городницкого прах Языкова каким-то образом переселился с Новодевичьего на кладбище Донского монастыря – еще одно путешествие совершил, на сей раз в мире своем собственном, поэтическом).

Языков, как всякий большой поэт, останется с нами, пока жив русский язык. И прямой смысл имеет свежим и пристальным взглядом взглянуться в земной путь этого поэта.

Глава первая Державинского гнезда...

ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ СИМБИРСКОЙ ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ЗА 1803 ГОД:

«...№ 16. У отставного гвардии прапорщика Михаила Петрова сына Языкова сын Николай родился и крещен 4 числа Марта месяца. Восприемником ему был статский советник Александр Ермолаев; молился и крещение совершал приходский священник Миссаил Бадеряновский, при диаконе Александре Иванове, дьячке Никифоре Григорьеве и пономаре Сергии Андрианове.»

* * *

Род Языковых – из тех крепких и богатых родов, которые в столицах не особо засвечивались, но на которых надежно стояла Россия. («Выехал к великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому в лето 7895 году [1387 г. от Р.Х.] знатные особы из Золотой Орды Мурза Енгулей по прозванию Язык, и во крещении имя ему Алексей...» – и преуспел бывший мурза, такой древний и надежный род основал.) В своих пределах – прежде всего, в симбирской губернии – Языковы среди состоятельнейших и влиятельнейших. Опять-таки, богатство их не напоказ, не ослепляет блеском, подобно богатству обитающих в столицах с их особняками фасадами на главные улицы, роскошью нарядов и сервировки столов и выездными каретами, но надо бы еще поглядеть, кто основательнее стоит на ногах, Языковы, к которым ручейками от их имений и «заводов» копейка бежит, или старающиеся красоваться на первых ролях.

Впрочем, и в их роду случались высокие взлеты. Например, роспись родословной не добирается до Ивана Максимовича Языкова, начальника Оружейной, Золотой и Серебряной палат («главы Гохрана» – сказали бы мы сейчас – тоже ничего!), убитого вместе с Артамоном Матвеевым в 1682 году во время стрелецкого бунта. Соротник Матвеева, значит, а такие люди и их потомки всегда были в милости и благодарной памяти Петра Первого, что и судьба сына Ивана Максимовича, Семена Ивановича, доказывает: участник Азовского похода, назначен в следственную комиссию по делу о стрелецком бунте 1699 года – уж тут-то, надо полагать, отыгрался за смерть отца – после чего пожалован в генерал-провиантмейстеры...

Но в целом, да, род не очень приметный, без громких имен и без великих свершений; а кого ни возьми, на любом поприще, хоть военном, хоть гражданском, трудится достойно и «с отличием», порой странно сочетающимся с такими уж русскими расхлябанностью и ленью, которые позволяет себе в личной жизни, вне выбранного служения.

Патриархально-традиционная семья – и при этом с живым интересом ко всему новому, к образованию. Отец поэта Михаил Петрович Языков, отставной гвардии прапорщик, за время службы сумел убедиться, что в нынешнее время не только без «грамоты», но и без хоть какого-то знания естественных наук – никуда. Не равнодушен он и к литературе, к поэзии – как дивно преобразается речь, когда слова оказываются в созвучии между собой, когда собственные чувства узнаешь, вникая в почти музыкальные распевы этих слов, и более того, новые чувства тебе открываются.

А кто на вершине всего, кто главный творец этого чуда, будто настезь распахнувший все окна русского языка, чтобы как следует проветрило его свежим воздухом? Такой же, по происхождению, «татарский мурза», как и мы, Гавриил Романович Державин – и тоже с Волги, из недалекой, по российским меркам, Казани – и гордится он тем, что он «мурза», что и нам

может служить примером и назиданием. Мурзы с Волги, почетное место занявшие среди древних дворянских родов России – они такие!

А тем временем восходит и звезда нашего, симбирца, Карамзина.

Жена Михаила Петровича, Екатерина Александровна Языкова, так и не освоила полностью грамоту, и письма пишет с трудом – «Посылаю тебе чаю 4 фу, кушей, не крепка клади, к нему можна расхоживо мешать. Немцы твои не многа толк знают»; из письма в Дерпт младшему сыну, поэту – а вот его дети, и сыновья, и дочери, получают блестящее образование. Самый младший ребенок, Екатерина Михайловна (родилась в 1817 году, совсем поздно, и всего за два года до смерти Михаила Петровича), умом, грацией и образованностью – и скромностью добавим – будет привлекать всех, на равных разговаривать с Пушкиным, навсегда пленит Гоголя, станет достойной женой Хомякова, а до того за ней будет долго ухаживать страстно влюбленный в нее Мотовилов; и отступится, вняв слову Серафима Саровского, что эта невеста не для него.

О младшей и любимой сестре Николая Михайловича Языкова нам еще предстоит отдельный разговор.

Николай (родился 4 (16) марта 1803 года) – младший из трех братьев. Его старшие братья Петр (1798 года) и Александр (1799 года) по смерти отца станут для него опекунами и воспитателями, кроме того, что так и останутся ближайшими и вернейшими друзьями, – и первыми читателями его стихов.

Вообще семья отличается крепкой взаимной любовью и привязанностью. Внутри нее и свой особый семейный язык вырабатывается. Семья – «Контора». Старший, Петр – «Старик». Александр – «Дюк», что очень к нему подходит, есть в нем и тяга к высшему свету, и тщеславие, и высокомерие, и желание сделать большую чиновничью карьеру в столице: при том, однако, условии, чтобы эта карьера не мешала лениться и сибаритствовать. И вместе со всем с этим – мнительность, постоянные сомнения в своих талантах и даже в своей состоятельности; эта мнительность, эта внутренняя неуверенность заставляет еще круче задира́ть нос перед посторонними. Старшая сестра Прасковья – «Пиготь» или «Пиготи». Николай – «Весель». Екатерина, чуть подрастет, станет «Котлы» или «Катуша». Семейные прозвища, будто рождающиеся из веселой игры в нелепицы: чем нелепей, тем лучше, и при этом за каждым прозвищем таится особый и глубокий смысл, недоступный посторонним. Эта игра в прозвища, в словечки-пароли, очень хорошо отражает стиль жизни семьи, стиль общения внутри нее. Мы вместе, и готовы противостоять целому миру, если понадобится защитить кого-то из нас. А еще, показывает, какое глубокое чувство языка, какой слух на язык есть в этой семье – даже если не знать подноготной прозвищ и словечек, само их звучание веет невыразимо и неуловимо естественным и родным.

И расположено имение хорошо, на берегу Суры, притока Волги, в восьмидесяти верстах от Симбирска и в «тридцати верстах» от уездного города Корсуни, – отмахав эти «тридцать верст», «к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня», и это не кто-то из Языковых пишет, это из «Пропущенной главы» «Капитанской дочки» Пушкина, той самой, где сказано про «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный». Пушкин очень точно воспроизвел и географическое положение, и все приметы Языкова; можно сказать, что «подарил» семье Гриневых поместье Языковых, а можно сказать, что подарил спасение обитателям поместья: Михаил Петрович унаследовал Языково, как ближайший родственник, от бездетного дядюшки, которого во время пугачевского бунта заживо сожгли вместе с домом и хлебным амбаром; унаследовав в 1774 году имение, Михаил Петрович ставил новый барский дом и всячески стирал память о страшных временах. К Гриневым (то есть, тогда еще не Гриневым, а Буланиным – фамилия предварительного варианта в этой главе задержалась, но мы все равно будем называть их Гриневыми, во избежание путаницы), когда амбар

был уже подожжен и они должны были сгореть заживо, помощь подоспела вовремя... Да, вот такой подарок оставил Пушкин Николаю Языкову и его братьям.

Но память о тех временах, конечно, не исчезла бесследно, она мрачной тенью падает порой на жизнь семьи, придает особую тональность попыткам Николая Языкова осмыслить родную историю и родной народ. И чем старше он становится, тем острее и болезненнее для него ощущение противоречия между теми высотами духа, до которых поднимается народ, даже самый забитый и безграмотный, в своих песнях, своих сказаниях, своих ярких присказках и словечках, и теми безднами, которые внезапно разверзаются в этом же народе, извергая кровавые потоки лютой злобы, не вмещающей ничему святому и светлому...

Или он предчувствует, пророческой интуицией поэта, что пожар и уничтожение будут повторяться, что каким-то странным образом они становятся неотъемлемой судьбой имения, будто в самом имении что-то есть – дремлет некий рок, всегда готовый проснуться?..

Ведь нет сейчас имения. Вновь сгорело. Разграбили, а потом сожгли в 1921 году, все подчистую, включая «пушкинскую комнату», которую почти сто лет хранили неизменной в том виде, какой была, когда Пушкин в ней ночевал, до последней мелочи. Единственно, что уцелело – сосна, которую вроде бы Пушкин посадил, она в стороне от дома, ее пожар не задел. Какую-то лютую революционную злобу на этом имении вдруг сорвали, хотя и гражданская война уж позади была? Или просто – заметали следы грабежа, потому что 1921 год – далеко не 1918, под крутую расправу можно было попасть за расхищение народной уже собственности? Впрочем, да, как раз в том же 1921 году разграбили и сожгли имение Блока знаменитое Шахматово, и Блок сообщал «мертвым голосом»: «Сожгли мою библиотеку». Но там хоть какие-то зацепки сохранились, чтобы в итоге восстановили дом и создали музей. А от барского дома в Языково остался лишь прямоугольник крепкого кирпичного фундамента, на котором еще до войны поселковый совет постановил устроить местную танцплощадку, и многие десятилетия сотрясалась там земля по выходным. Можно представить, что там творилось. Лишь с начала нынешнего века большими усилиями усадьбу в какой-то порядок приводят. Бог даст, и настоящий музей будет.

Городскому – симбирскому – особняку Языковых повезло чуть больше. Уцелел. Но доля и ему выпала тяжкая. Перед революцией – гостиничные номера не самого высокого пошиба, из тех провинциальных гостиниц-«клоповников», которые так любил описывать Чехов. А уж после революции... Сперва в нем разместилось местное управление ВЧК-ГПУ. Через сколько-то лет, когда оно уже было Ульяновским управлением НКВД, получили чекисты здание поосновательней. И устроили в особняке детский дом для глухонемых детей. Потом еще несколько поворотов судьбы особняк пережил, и лишь не так давно (по меркам истории) удалось все-таки добиться, чтобы он соответствовал своему прямому предназначению: теперь в нем очень славный музей Языкова.

Да, лучше не задумываться над превратностями времен...

Но и не представлять невозможно, какие тени витали над оголтелой танцплощадкой, вызывая приступ внезапного ужаса и желания бежать опрометью прочь даже у тех, кто уже основательно заглушил сознание приснопамятным портвейном «три семерки» – и очень может быть, тень Блока их там сопровождала, а тень Языкова, наоборот, разделяла с Блоками и Менделеевым скорбь над развалинами Шахматова?

Нет, хватит, хватит!.. На чем мы там прервались?

Языков чуть не с пеленок внимает рассуждениям отца о том, что поэзия – высший род человеческой деятельности из всех возможных, видит, как трепетно отец открывает каждый новый номер столичных литературных журналов и альманахов, на которые подписан – и трудно сказать, естественным образом просыпается в нем поэтический дар или он, как свойственно маленьким детям, сперва подсознательно внушает себе, чтобы порадовать отца, что чувствует, как в нем просыпается желание рифмовать и что он должен быть только поэтом, а все другое

будет изменой призванию? Не все ли равно, в чем первопричина, если результат блестящ? Он очень рано начинает свою погоню за рифмами. Чтобы в неполные шестнадцать лет выступить в весьма уважаемом издании состоявшимся поэтом, писать он должен был начать очень рано, едва грамоту освоил.

А воспитанный сызмальства на преклонении перед Державиным, – «наш, волжский мурза, потому и величайший из величайших!», – Николай Языков с самой первой пробы пера оглядывается на него. И державинская закваска останется у него на всю жизнь. Очень точно державинскую генетику Языкова уловил Мандельштам, обращавшийся к Державину в «Стихах о русской поэзии»:

...Дай Языкову бутылку,
Пододвинь ему бокал,
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.

«Вессель» Языков старается узнавать о Державине как можно больше, любые мелочи, и даже в мелочах ему подражать.

Однажды узнав (еще и десяти лет ему не было), что Державин пишет (пишет! Державин жив и лишь в недалеком будущем Пушкина благословит!) стихи на грифельной доске, он тоже начинает исключительно на грифельной доске свои силы пробовать, и на всю жизнь грифельная доска станет для него основным «орудием производства», на бумагу он будет переносить уже тщательно проработанные варианты, беловые или близкие к беловым. И даже будет этим гордиться, специально подчеркивая и выпячивая, что и в этом свою родословную от Державина ведет. В замечательном послании Пушкину, написанном после посещения Тригорского и Михайловского – «О ты, чья дружба мне дороже...» – он сделает особую сноску:

...С челом возвышенным стою
Перед скрижалю вдохновений¹
И вольность наших наслаждений
И берег Сороти пою!

И мне при этом так ясно видится, сколько времени проводит он, мнительный подросток, перед зеркалом, не из самолюбования, а вглядываясь придирчиво и растерянно: перед ним пухлый мальчишка с круглым лицом, разве поэт может быть таким? Толстый увалень... Вот Державин, с его статью, с его чуть удлиненным лепным лицом, сразу понятно, что великий поэт...

И вьющиеся белокурые локоны, и голубые глаза... Они многим запомнятся и особо будут упомянуты, их голубое сияние погаснет только с уходом поэта из этой жизни. Но белокурость голубоглазая, вносящая последние штрихи ко круглому лицу с курносым носом... Это ж вообще девчачье какое-то... И пухлые плечики, которые еще надо развивать и совершенствовать закалками и тренировками. Он и на «взятии снежной крепости» заводила, метче любого закидает снежками «обороняющийся гарнизон», и в свайку, и в битку и в лапту всегда первый.

И все равно вопрос мучит: смог бы он, как Державин, ускакать от пугачевского разезда, а потом велеть вешать бунтовщиков – и наблюдать за казнью? Вроде бы, не только из необходимости, но и из любопытства – любопытно ему было, как выглядят повешенные... А он, Николай, по природе добродушен, уступчив, чересчур покладист, столько-то он о себе пони-

¹ Аспидная доска, на которой стихи пишу.

мает. Поэт должен быть дерзким и резким – значит, природное добродушие надо как-то укрощать. И что-то надо делать с внешним обликом.

Он и старается. Сколько стихов у него потом будет о пловцах, о схватках с бурными водами – не перечесть. Купание в Суре, в любую погоду. Очень скоро он, закаленный и окрепший, раз за разом пересекает Суру сильными, мощными гребками – одно из излюбленных его занятий. Пусть Сура не Волга, но все-таки приток Волги, а большие притоки Волги сами по себе будут побольше многих крупных рек, на которых стоят города. И к двадцати пяти годам у всех, знакомых с ним, не будет иных характеристик, как «крепьш», «кровь с молоком». Но «непоэтический» собственный облик все равно будет немного его смущать.

Как будет смущать и то, что, по добродушию, он терпеть не может любого физического насилия, ему становится противно. Он и на масленичные кулачные бои на льду Суры не выходит – не потому, что боится, а потому что ему неприятно бить другого человека, даже ради забавы, тем более по лицу. (Мне живо представляется, что и при штурме снежной крепости ни разу он не делал обледенелого снежка, чтобы до крови в нос!..) И все понимают, что он не трус, что просто чудачество у него такое. Свою смелость и дерзость он доказывает, и бесшабашно кидаясь в самые бурные воды, и лазая по самым высоким деревьям. Но все равно будет стыдиться своего отвращения к уродованию людей, тем паче к смертоубийству.

И все «упоение битвой» станет переносить в стихи. Ведь там-то он никого не ранит, не расширяет до крови и синяков.

И первые, и последующие биографы сходятся на том, что получил он «незавидное» домашнее образование. Но и при этом «незавидном» образовании он не только отлично овладевает грамотой, но и начитан в русской литературе, владеет начальными знаниями нескольких, древних и новых, языков, а также достаточно силен в арифметике, чтобы, когда на двенадцатом году жизни он отправляется в Санкт-Петербург для поступления в Горный Кадетский Корпус (в котором уже близки к выпуску его братья Петр и Александр), ни в чем не уступать своим однокашникам.

Зачислен он сначала (9 октября 1814 года), на полупансион, позже (с 1 января 1816 года) перейдет на полный пансион, но в основном живет вместе со своими братьями. Об их житье-бытье в Петербурге утверждается легенда, которая настолько же правдива по букве, насколько неистинна по духу. Легенду эту – со всей скрупулезной сверкой источников, как всегда у него – так излагает Вересаев:

«Жил он в Петербурге вместе с двумя старшими братьями; они оба кончили Горный корпус и где-то числились на службе. Все три брата отличались непроходимой глубокой помещичьей ленью. Целыми днями они лежали в халатах на диванах обширной комнаты, в которой жили втроем. Богатством своим они совершенно не пользовались не из скупости, а из той же лени – не было охоты двинуть пальцем для устройства даже элементарнейшего собственного комфорта. Сонный крепостной слуга Моисей приносил им обед из дрянной соседней харчевни, приносил, что попадет, подавал блюда простывшими, неразогретыми, платье не чистилось неделями».

Скажем несколько слов в защиту Вересаева, прежде чем развеять прах этой легенды. Он не злословит, не передергивает, он всегда был настолько честен, что боялся хоть на толику отступить от правды факта. Известна история, как МХАТ сначала заключил договор на пьесу о Пушкине «Последние дни» с двумя соавторами, Вересаевым и Булгаковым, и соавторы очень быстро разругались. Вересаев категорически возражал против любых попыток Булгакова добавлять авторский вымысел в диалоги персонажей. Булгаков возражал: «Но ведь это художественное произведение, иначе нельзя!» Вересаев упирался: «Все равно, раз документально это не подтверждено, мы не имеем права приписывать историческим лицам то, чего не было!» В итоге, Вересаев устранился, и Булгаков писал пьесу один.

Эта же редкая шепетильность привела его к особому жанру «невыдуманного». Лучшее его художественное произведение называется «Невыдуманные рассказы». Вересаев рассказывает о событиях точно так, как они происходили на самом деле. Отсюда же рождаются «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни», «Спутники Пушкина» и другие работы, где Вересаев представляет читателям обширнейший и строго выстроенный подбор документов, не скрывая ничего, даже стыдного и недостойного в жизни почитаемых классиков, а читатель пусть сам разбирается и делает выводы. В чем-то его позиция совпадает с обращением к Пушкину Маяковского: «Я люблю вас, но живого, а не мумию, Навели хрестоматийный глянец!..» Вересаев именно **любит живых** Пушкина и Гоголя со всеми их достоинствами и недостатками и пытается донести до читателя эту очень человеческую любовь.

И эта же шепетильность мешает Вересаеву перемахнуть тот барьер, о котором говорил Тынянов: первая заповедь всякого исследователя должна быть «Любой документ врет», правда возникает только из сопоставления нескольких документов. Скажем, имеем мы документ о награждении кого-то орденом. Только из сопоставления с другими документами мы можем узнать, получил человек орден за воинские подвиги или за пресмыкательство при дворе. И так далее. Без сопоставления и собственных выводов не может быть настоящего постижения истории, говорит Тынянов. Вересаев бы с этим не согласился. Написать такие вещи как «Подпоручик Кижэ» или «Смерть Вазир-Мухтара» было бы для него невыносимо.

Отдав низкий поклон Вересаеву за его бескомпромиссную честность и за богатейший систематизированный свод информации о пушкинской эпохе, который он нам оставил, постараемся снять искусственные ограничения, им поставленные.

Да, братья Языковы любили щеголять своей ленью – ленились напоказ, иначе не скажешь. Николай Языков многократно обыгрывает тему лени и в стихах, и в письмах к родным; мол, лень природная опять осилила, надеюсь ей не предаться, но, конечно, она меня победит... Схожим образом и его братья подшучивают над собой. Да, у Николая Михайловича успехи в учебе, в смысле оценок и получения аттестатов, были более чем скромные, но за время обучения в Дерпте он осваивает сложнейшие философские труды на нескольких языках, древних авторов читает в подлиннике, на латыни и греческом – нам бы такие «неуспехи в учебе»! А его старший брат Петр не «где-то служил», он заканчивает Горный Корпус с двумя медалями разом, золотой и серебряной, став лучшим выпускником за много лет, становится крупным ученым – одним из крупнейших русских геологов и палеонтологов девятнадцатого века, оставившим яркий след, отдельный кабинет (собрание окаменелостей) Петра Языкова так и хранится в геологическом отделении Академии Наук – и при этом еще успевают заниматься этнографическими розысками и тянуть на себе все хозяйство семьи. Александр Михайлович, «Дюк», поднимается до высокой должности в канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя; да, не без протекции их дальнего родственника П. А. Кикина, статс-секретаря этой канцелярии, но чтобы не только удержаться на такой работе, но и хорошую карьеру сделать, надо собственную недурную голову на плечах иметь: соображать надо, как сортировать прошения, какие в первую очередь нужно отправлять на стол императору, какие можно перепоручить министрам к исполнению, тут ни один прокол не допустим.

Да, братья Языковы не особо много внимания уделяли быту – в те годы, во всяком случае. Потом-то у них и в имении и в симбирском особняке все будет отлажено как часовой механизм. Но небрежение к бытовым удобствам – вообще черта молодости. А братья Языковы не просто молоды: совсем дети, по нынешним временам. Да, в наши дни не участвуют в пятнадцать-шестнадцать лет в Бородинской битве, не становятся полковниками, а то и генералами, в двадцать с небольшим, но все равно юность есть юность.

Вообще-то, Николай Языков числится пансионером и должен проживать при Горном корпусе на казенный счет, вместе с другими учащимися. Но дисциплина там суровая, не забалуешь, нет ни места, ни времени удобно расположиться с аспидной – грифельной – доской и

погрузиться в сладостный мир поэзии. Подъем по побудке, занятия, строго расписанный распорядок дня, после отбоя – вообще ни-ни. Вот младший брат постоянно и сбегает к старшим. Здесь можно днями напролет заниматься любимым делом, на диване устроившись с аспидной доской. И жаловаться на то, как ему противна математика, что знал бы он, что столько будет математики и химии, к которым он совсем не расположен и в которых плохо соображает – руками и ногами уперся бы, а в Горный корпус не пошел. Петр еще пытается иногда мягко вразумить младшего брата: образование все равно это заведение дает очень хорошее, вон как Николай подтянул и французский и латынь, да и усложненный курс математики, несмотря на все свои стенания, успешно одолевает, и в химии смыслит уже достаточно, чтобы посмеиваться над неудачными учебными опытами своих однокашников. Так что не ставь сам себе подножку, приналяг хоть немного на предметы, с которыми ты не совсем в ладах. Но Петр никогда не был и не будет строгим воспитателем, он прежде всего любящий брат, и его благие призывы легко пропустить мимо ушей.

Что до Александра, то он с младшего брата пылинки сдувать готов и во всем ему потакает. В нем, наметившем себе скучную чиновничью карьеру как единственно возможную по его способностям, живет небывалое и трогательное благоговение перед любым литературным трудом, особенно трудом поэтическим, как перед чем-то высшим, как перед божественным проявлением человеческого духа, рядом с которым все остальное мелко и мелочно. У него одна забота: не надо мешать Николаю творить. Он становится первым читателем стихов брата. Первые же стихи тринадцати-четырнадцатилетнего подростка вызывают его искреннее восхищение. Он уверен, что из брата вырастет первый поэт России. Может быть, здесь есть и момент психологии, подсознательного или полусознательного: пусть брат преуспеет там, где не дано преуспеть мне, и я буду счастлив! И потому он очень внимательно вчитывается в каждую строку, на полном серьезе разбирает с Николаем все достоинства и недостатки каждого стихотворения, какими они ему видятся. И Николай отношением брата дорожит не меньше, чем Александр дорожит его едва расцветающим даром. Через несколько лет, в 1822 году, Николай Языков, составив первую полную тетрадь своих стихов, посвятит ее брату, и будут в посвящении такие красноречивые строки:

Тебе, который с юных дней
Меня хранил от бури света,
Тебе усердный дар беспечного поэта —
Певца забавы и друзей.
Тобою жизни обученный,
Младый питомец тишины,
Я пел на лире вдохновенной
Мои пророческие сны, —
И дружба кроткая с улыбкою внимала
Струнам, настроенным свободно мечтой;
Умом разборчивым их звуки поверяла
И просвещала гений мой!
Она мне мир очарованья
В живых восторгах создала,
К свободе вечный огонь в душе моей зажгла,
Облагородила желанья.
Учила презирать нелепый суд невежд
И лести суд несправедливый.
Смиряла пылкий жар надежд
И сердца ранние порывы!

И я душой не изменил
Ее спасительным стараньям:
Мой гений чести верен был
И цену знал благодеяньям!..

Александр и Петр до конца жизни останутся первыми и самыми дорогими читателями стихов брата – и самыми ревностными поклонниками его дара. Доходит до парадокса, на который мало кто обращает внимание. Считается, что Николай Языков находился под сильным влиянием Александра, и не всегда благим, многие резкие и несправедливые суждения Языкова (включая чуть не ругательные отзывы о Пушкине) были внушены ему довольно архаическими представлениями брата о том, что есть истинная великая поэзия. Да, такое бывало. Но чаще мы видим, как Александр подхватывает любое суждение младшего брата – все, что брат сказал, для него свято и вечно – и разносит эти суждения в преувеличенном виде; где Николай искрой желчного замечания или выпада довольствуется, там Александр раздувает целое пламя негативного суждения о человеке и о поэте. Более того, когда вникаешь в их переписку, то видишь, как часто Александр сам ищет поддержки и опоры у брата, причем ищет под видом покровительства, позу «поверяющего звуки» Николая «умом разборчивым» не меняя. Всю жизнь Александра преследует мысль о том, что и ему не худо бы войти в литературу. Но насколько он представителен и высокомерен в привычном ему обществе придворных чиновников и дворянских собраний, настолько он робок и мнителен во всем, что касается творческой работы со словом, пробы пера. И Николаю Языкову приходится постоянно поддерживать его и ободрять: да ты не бойся, просто не бойся, преодолей страх и возьми за перо, выведи первое слово, а дальше, вот увидишь, само пойдет...

К сожалению, почти не сохранилось писем Александра к брату, а за семилетний дерптский период Николая Языкова – вообще ни одного, после смерти Александра все они были уничтожены согласно его завещанию: мол, в них слишком много личного и не хочу, чтобы они были кому-то доступны. Так что приходится довольствоваться крохами. (Вообще, с архивами семьи Языковых просто заколдованная история, на грани античного рока: гибель за гибелью, уничтожение за уничтожением, по разным причинам, странно, что хоть что-то сохранилось.) Но вот характерный пример. В 1833 году Александр опять подумывает о том, чтобы обратиться к литературному труду и опять спрашивает совета у Николая. Николай отвечает (2 июня 1833 года):

«Ты постановил меня в большое затруднение, ввел в обстоятельства тонкие, приделал к делу трудному, важному, собственно твоей голове принадлежащему. Но все-таки мне очень и очень приятно отвечать тебе на то, чего гораздо скорее мог бы ты спроситься у самого себя...

Вот главное! Тебе надобно перестать сидеть над одними теориями, надобно войти побольше в мир чистой истории и литературы и жить и обращаться в нем, он вполне осветит тебя и развяжет во благо! ... Советую тебе заняться, pro gr̄ito, хоть сочинением повестей или замечаний о странах, тобою виденных и изведанных. Знаю, что ты первым шагом станешь высоко и разом превзойдешь многое множество наших так называемых известных и славных писателей. Я уверен в этом, равно как и в том, что ego sum! Решишь!»

И еще не раз это «Решишь!» прозвучит к Александру. Опять можно говорить о несовпадении внешнего и внутреннего. В ряде мемуаров и позднейших очерков говорится о «слабохарактерности» Петра Языкова. Но за его уступчивостью и мягкостью скрывались не слабый характер, а железная воля: иначе бы он не смог поднять тот невероятный груз, который вытянул на своих плечах. Восторженный отзыв Пушкина о Петре Языкове (до него мы в свое время доберемся) вполне это подтверждает. А вот Александр за маской «Дюка» (герцога), за железным спокойным высокомерием одного из первых дворян Симбирской губернии и высокого

чиновника скрывал некую слабость характера, робость, боязнь сделать лишний шаг, боязнь «не показаться» во мнении окружающих. Если уж говорить о его влиянии на Николая, то, может, прежде всего Николай перенял от него именно робость, которая немало мешала ему и в жизни, и в поэзии.

Бросив этот быстрый взгляд в будущее, чтобы немного прояснить в настоящем, вернемся в первую половину десятых годов девятнадцатого века, когда многое начиналось и когда многие узелки завязывались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.